

ИРИНА ИВАНЦОВА



ЧЕЛОВЕЧЬЕ ТЕПЛО

РАССКАЗЫ

СЧАСТЬЕ ПАХНЕТ МАНДАРИНАМИ

В весеннем лесу хорошо, и в летнем — с таинственными проблесками солнца меж стволов, с завораживающими прятками света и тени; да и в зимнем на лыжах с рдеющими щеками, с ветром в ушах тоже не хуже. Но всё-таки лучше всего там осенью. Даже если дождь, подслеповатый, серый и несколько грустный. Но воздух в эту пору особенный! Пряный, насыщенный оттенками, трогательный до невозможности: всё в нём угадывается — и еловая смола, и преюющие листья, и берёзовые разломы, и грибные споры, но в то же время он неуловим, как неуловимо всё возвышенное и прекрасное.

И звуки особенные... Мягкий шорох под сапогом слюдяных пластов опавшей листвы, удары капель по козырьку кепки и кашпоному плаща: уверенные, сильные и упругие, словно кто-то кинул в тебя россыпь горошин. Осень заявляет свои права на этот лес, на эти деревья, листья, доживающие свой век, и даже на тебя, заставляя подчиняться: кутаться, стоять, пережидая, под раскидистой елью, поднимать ещё выше воротник, прятать ладони в рукава.

Грибов немного: подосиновик да пяток маленьких сыроежек — даже дно корзины не прикрыто. И он вот уже скоро битый час кружит, желая набрать хоть что-то на жарёху. Правду сказать, он никогда не был ловким грибником, всегда удивлялся, как это другие умудряются тащить по две корзины,

ИВАНЦОВА Ирина Владимировна родилась в 1968 году в Пушкино Московской области. Окончила Московский государственный открытый пединститут. Работает преподавателем русского языка и литературы в школе. Публиковалась в "Литературной газете" и журнале "Север". Живёт в Пушкино.

да ещё и рюкзак — где они столько берут? По осени все автобусы наполняются грибниками, а весь мир — разговорами о том, что места надо знать, что те, которые знают — вот они-то и тащат ведрами, что какие прекрасные бывают рецепты засолки, а если ещё и в кадке, как раньше, у тёти Клавы, в подполе со смородиновым листом и хреном — то и за уши не оттащишь...

Но ему не надо ведра, не надо никакой практической пользы — так, погулять и чуть-чуть насобирать, на сковородочку. С маслицем, лучком и картошечкой. О! это просто волшебство.

И он забирает то вправо, то влево, то лезет через бурелом, то бредёт, поглядывая сквозь просветы, вдоль небольшого лесного ручья. Но нет как нет. Словно какой-то неведомый властелин леса спрятал все грибы именно от него. А он... что он? Чем он мог бы прогневить невидимого лешего? Или он не леший? А кто тогда? Пан? Нет, это точно нет. Это из другой истории. Из другой страны, где лес не бывает таким глухим и сиротски бесприютным. Собственно, эта неприкаянность больше всего ему и нравится. Эта лесная тоска, что сродни вековой тоске всего русского народа: дорога ли бежит — даль, неизвестность — тоска; поле ли раскинулось — неоглядная ширь, поглощающая человека своими размерами — тоска; лес — молчание одиночества, деревья, умирающие стоя, — тоже тоска. И шемит qualcuno сердце печаль, бьёт в лицо дождь, замирает дыхание в предчувствии... ничего... только дождь, только дождь, только дождь.

И вот уже подкрадывается нелепая мысль почувствовать себя неудачником. От того, что дождь, от того, что нет грибов, от того, что дома никто не ждёт и не поставит даже чайника ему, продрогшему и как-то враз осиротевшему. Хотя грех жаловаться, потому как сам рванул на дачу, желая побыть в одиночестве. Но внутри какая-то муля, только тень слов, которые, возможно, уже готовы сорваться, но не срываются, не успевают упасть и задавить своей тяжестью. И тут он, случайно чиркнув боковым зрением, зацепил яркий фантик от конфеты на сером фоне преющей прошлогодней листвы. “Господи, пораскидали мусор даже в этой глухомани”, — мгновенно пронеслось в голове.

Он с любопытством пригляделся, но это оказался не фантик — рыжая крупная лисичка развернула свою резную розетку, похожую на маленькую рюмочку. Тут бы ему впору устыдиться своих мыслей, осознать свою неправоту и покорить себя за напраслину, но радость обладания лисичкой не позволила состояться акту раскаяния. Он рванул к ней, влекомый почти детским восторгом, как бывает, когда тебя поманили обладанием возжеленного предмета. Рванул, в один прискок оказался рядом, срезал, любуясь её неотразимостью, поворачивая на ладони, наслаждаясь холодной упругостью. Что за прелесть!

И тут, скорее почувствовав, чем догадавшись, он стал раздвигать слежавшуюся прошлогоднюю листву, поднимая её серыми пластами, а под ней (ну, кто скажет теперь, что он неудачливый, незнающий грибник!), под ней — россыпи лисичек, похожих на весёлые конопушки, что не смогли прорваться на поверхность, пробить почти ледяную толщу, навалившуюся на них. Он раскидывал листья вправо и влево, всё более и более обнажая чёрную землю с рыжими точечками. И на душе становилось так хорошо и весело, будто он высвобождал подземное солнце, раздвигая тучи и выпуская на волю его лучи.

Насобирав пол-лукошка, он по едва заметным приметам зашагал обратно к машине, которую оставил сразу за знаком “Охраняемая зона” на дороге, больше похожей на проторённую колею, чем собственно на дорогу, и в корзинке его дрожало солнце, а в душе переливались солнечные зайчики.

И день стал весёлым, наполненным запахом леса, картошки с луком и грибами, радостно шёлкавшими на сковородке, и даже сунчик, состряпанный всё из тех же грибов, оказался на редкость солнечным и прекрасным, поскольку лисички, как подлиннные световые блики, не утратили золотого блеска даже в варёном виде.

Он открыл глаза, буквально через силу заставив себя разлепить веки. Вставать не хотелось, а хотелось спать. И тут он понял, что это просто сработала привычка, что сегодня-то никуда не надо! Сегодня первый день летних каникул, седьмой класс остался позади. Все контрольные написаны, оценки получены, даже взбучка от мамы за тройку по английскому, так утешавшая его, — уже в прошлом.

Если честно, то тройки невозможно было избежать. Майя Алексеевна, их учительница английского, была женщиной, как бы это помягче сказать, специфической. Увы, но именно её внешность, привычка красить губы и противный характер стали причиной стойкой нелюбви к предмету. Красить губы... Вы скажете: “Почти все женщины красят губы”, — и будете правы. Да, почти все, но она это делала во время урока, наклоняясь за доску, где стояла плакатница с небольшим квадратным зеркальцем и несколькими тюбиками в золочёных корпусах перед ним. О, эта сокровищница могла бы быть названа “милой”, “симпатичной” и даже “трогательной”, если бы не одно “но”... Но такое, что сердце холодело, а голова отказывалась соображать.

Когда Майя Алексеевна наклонялась за доску к своим сокровищам и, скорее всего, опиралась на левый локоть, чтобы обрести уверенность и правой рукой довести губы до совершенства, когда это всё случалось, то подол её юбки подло поднимался, скользя по розовой комбинации и обнажая широкую полоску кружева, из-под которого сияли всей своей вульгарностью белые панталоны в лёгкую зелёную крапинку. А! О боги, боги! Убейте меня! Пусть молния испепелит моё брренное грешное тело! После такого выжить невозможно. Но...

Но Майя Алексеевна, закончив макияжные экзерсисы, появлялась перед светлые очи учеников, как ей, вероятно, казалось, посвежевшей. Губы сияли наведённым лоском, что делало её ещё более... безобразной. Увы, но она являла собой исключительный образец безвкусия. И панталоны здесь были самой безобидной деталью, хотя бы потому, что другого белья в магазине не продавалось, а матери внушали девочкам, что носить их практично, тепло и полезно во всех отношениях. Было ли это попыткой преодолеть проблему дефицита или всё это являло собой некую и в самом деле непреложную истину? Бог весть! Возможно, Майю Алексеевну также зомбировала её собственная родительница. Но, повторюсь, панталоны тут почти ни при чём. Главное — это её внешность, её причёска а-ля пудель с широченной, стоявшей дыбом чёлкой, что называется от уха до уха. Вторая половина головы вилась длинными кудрями ниже плеч. Всё это выкрашено в белый цвет и, казалось, способно хрустеть, как снег от самых ничтожных прикосновений. И к этому чёрные брови, глаза, широко подведённые, как у египетских фараонов, но в отличие от последних, её стрелки растекались в мимические морщинки. И вообще, всё её лицо было довольно помятым, желтоватым, с пятнами нарумяненных щёк. И очень хотелось, по примеру Раскольниковва, тянуть её топором по голове. Но это забегая вперёд. В седьмом ещё Достоевского не читали и о существовании Раскольниковва не подозревали, а вот в девятом его образ встал перед глазами со всей очевидностью, и Тёма Коробов даже нарисовал в тетради “Убийство Майи”, где был изображён некий ученик с топором в руке, разбивающий череп англичанки.

Была у Майи Алексеевны ещё одна странность — одеваться в один цвет. Если красный — то красная куртка, красный берет, шарф, брюки и даже перчатки. Если синий — то читай список сначала, заменяя лишь цвет. Но были ещё и жёлтый, и зелёный!

И всё же странности облика англичанки меркли в сравнении с её характером. Она была гадина. Несправедливая, визгливая, не щадящая никого. Способная оскорбить самым немислимым образом. Смотрела на всех с презрением, свысока, как на плебеев. Называла учеников серой массой: откроеет дверь кабинета, приглашая учеников к уроку, и непременно: “Заходите, серая масса”. Не обходилось, конечно, и без любимчиков, которым прощалось

всё. Не успела Лидочка Воробьёва, птичка наша сладкоголосая, выучить слова: “Ну, ничего, учи, спрошу в другой раз”. И никто указать Майе на несправедливость не смел, опасаясь стать объектом её нападков.

За неделю до конца четверти умудрилась вызвать родителей Коробова. “Майя в своём репертуаре, — развёл Тёмка руками. — Ни одна училка не стала бы вызывать — какой смысл, четверть заканчивается. Чего уж тут исправлять? Всё и так ясно”. Хорошо, что мать в этот день не смогла — явился отец. И Майя орала на Коробова коробовскому отцу, что мол сын — мерзавец, что постоянно опаздывает (а опоздал-то всего лишь раз: к ней опаздывать до обморока боялись!), что произношение у него мерзопакостное, и вообще “он постоянно жуёт на уроке! Тащит еду из кармана и жуёт! Все губы в крошках! Хамло-о-о-о!” — завывала Майя Алексеевна. Она бы ещё добавила резких слов, в этом сомневаться не приходилось, но тут Тёмкин батя со свойственным ему пролетарским спокойствием рубанул: “А вот тут, гражданочка, прошу поосторожней, сын мой, может, и оболтус, и с языками не очень, а вот про крошки — это вы хватили: у него бородавки, никак свести не можем, по врачам мать с ним забегалась совсем: мази, примочки — всё испробовали. И за это пацана обижать не дам. Ясно?” Попрошачся и вышел из её кабинета. За углом школы Коробов-младший получил, конечно, подзатыльник от Коробова-старшего с наставлением, мол, учись, обормот, иначе гайки на заводе всю жизнь крутить будешь. Но получил, можно сказать, с удовольствием. Мать бы точно наказала. А так... живём!

И вот оно долгожданное лето. Фанфары! Военный оркестр играет марш — и мы шагаем прочь от школы рядами и колоннами, вперёд к каникулам! Утро. Во дворе ещё довольно пусто. В песочнице возится малышня, девочки прыгают на скакалке.

Он вышел на кухню, поставил чайник, открыл холодильник. Хлеб с маслом и кусочком сыра, чай... И вот уже Тёма Коробов звонит в дверь, и они бегут, перепрыгивая через ступеньки, вниз, во двор, который встречает их ослепительным солнцем.

Сейчас почти вся ребятня на речке. И песок на берегу — золотое покрытие, и река — жёлтые брызги с рыбками дрожащих на поверхности бликов, и день — расплавленный зной с вязким сливочным воздухом. Сбросив одежду на небольшом зеленоватом пятачке с выжженной солнцем травой, они кидаются в реку — и живительная прохлада принимает их разгорячённые тела, мгновенно отрезая от всего мира: от марева раскалённого солнца, от криков и визга на пляже, от мыслей о чём бы то ни было. И тело, становясь невесомым, отдаётся блаженству слияния с новой стихией, подчиняется и одновременно борется с водой, делит всю её однородную массу на пласты, извивается, режет руками, размалывает ударами ног. И в ответ вода мучительно трепетно скользит по телу, оглаживая почти сладострастно кожу, ласкает и баюкает, нащёптывает свои сказки.

Рыночная площадь в базарный день гудит, дрожит воздух от голосов торговцев и криков разносчиков свежей выпечки. Это только в сказке Русалочка лишается голоса, чтобы стать человеком, а на самом деле голос — это наказание, данное человеку при выходе из моря. Конечно, при условии, если теория Дарвина о том, что все вышли из мирового океана, верна. И мы вечно обречены теперь путаться в словах, сжимать губы в недомолвках, объяснять то, что на самом деле имели в виду в противовес реально сорвавшемуся с языка. Кружимся в словесной карусели, разносимые законом центростремительной силы, всё более отдаляясь.

То ли дело рыба! Ах, рыба, что за чудо! Живая, трепетная, с запахом сильной чистой реки и деревянной кадки, с упругими изгибами тела и фианитами блёсток. Если бы вернуть всё назад, пусть даже с муками: пусть кровотоцит горло от вырванного голоса, пусть ноет тело от гвоздей, крепящих слюду чешуи к коже — лишь бы плыть, сливаясь с дикой водой, пока не выскользнет ненароком сердце через жаберную щель. Ну, хоть денёк так!

А потом пусть ловят кто сетями, кто на крючок, пусть тащат с гиканьем щенячьей радости меня, прыгающего в руках, пусть потрошат — ничего там нового нет — рыба я! Рыба! И всё тут! Ни одного слова я уже не скажу!

Прощай, моё молчаливое царство! Здравствуй, родное горластое человечье торжище!

* * *

— Уплотняйте, уплотняйте глину. Вот так, — И преподаватель пристукивает её деревянной палкой. — Глина — она материал упругий и любит грубость.

И, следуя совету, он ударяет её несколько раз.

— Да не так, — слышит снова над ухом. — Вы её дубасите без толку. Тут стукнули сильно — с другой стороны вылезло. А надо вот как. — И Александр Павлович берёт всё в свои руки, показывает, разъясняет толково, проникая словами в самую сердцевину его существа, засевая благодатную почву зёрнами науки под названием “Скульптура”.

До встречи с Александром Павловичем он думал, что скульптор непременно должен быть могучим мужиком, возможно, даже с косматой бородицей и львиной гривой. Ну, а если и не могучим, и не бородатым и гривастым, то хотя бы с сильными руками, мощными ладонями. И вообще должен быть приземистым, так сказать, приближённым к материалу, с которым работает.

Но с Александром Павловичем всё обстояло иначе. Он разбивал все стереотипы: был высок, худ и почти изящен. С небольшой головой, увенчанной русыми волосами, колыхавшимися над просветами лысины. С лёгкой сединой на висках, аристократически аккуратными ушками и каким-то особенно неприметным лицом. Всё это великолепие держалось на длинной, не сказать бы лебединой шее, и хотя данный эпитет более приличествует женскому описанию, но удержаться и не употребить его сейчас просто невозможно. А дальше всё под стать: мешковатая одежда на узких плечах, брюки, ох, если бы не ремень — точно упали бы вниз, руки, казавшиеся чуть не раздвижными, всеохватными из-за их длины, доведенные до логической черты тонкими узкими кистями с сухими пальцами, казавшимися паучьими лапками, особенно когда Александр Павлович поднимал руку вверх и, раскинув розетку ладони, начинал философствовать о роли искусства в современном мире. В общем, не скульптор, а какой-то балетный танцовщик, или пианист... нет — он одуванчик!

— Доводите всегда работу до абсолюта. Добивайтесь совершенства, — увещевал Александр Павлович. — Выравнивайте бока и выглаживайте пирамиду со всех сторон.

— Но она у меня и так уже хороша, — возражал он преподавателю, устав от монотонности занятия и, как ему казалось, от его бессмысленности. Вместо того, чтобы лепить что-то конкретное — всего лишь геометрические тела.

— Господи, да вы у меня, голубчик, никак Роденом себя почувствовали? Азбука вам не нужна? Вам сразу университеты подавай? Так вас понимать? А материал вы как научитесь чувствовать? Ремесло — первым делом. Промеряйте и выравнивайте, — не сдавался Александр Павлович.

— Да она у меня уже и так великолепна, хоть Хеопса хорони, — шутил он, вызывая дружный смех группы.

— Сначала лепить научитесь, а потом поговорим, господин шутник. — И Александр Павлович, качнувшись, продолжил своё мерное шествие от одного студента к другому.

И при всей своей нетипичной внешности именно Александр Павлович привил редкостное прилежание и восторг перед ловким аккордом пальцев, когда, исправляя модель, делаешь уверенное, единственно верное нажатие — и глина, отдаваясь прикосновению, вдруг двигается именно туда, куда и должна, плоскости занимают естественное положение, а формы обретают законченный лаконизм.

Да, были потом левый глаз Давида, за ним правый, нос, губы, ноги и руки микеланджеловского творения, но самое главное, самое сильное — чувство первой работы: ощущение растерянности и беспомощности, перехо-

дящее в уверенность, что под цепким взглядом преподавателя всё сложится, построится и состоится.

И в конце обучения в училище, когда защищали диплом, самым радостным стали не похвалы и восторги окружающих, а тихое, почти робкое рукопожатие Александра Павловича:

— Спасибо, голубчик, всё срифмовали верно. Композиция славная получилась.

И рука у него была сильная, и ладонь крепкая и упругая.

* * *

Только учась в художественной школе, он узнает, что портрет инфанта написал Веласкес. А сначала явилась сама инфанта. Маленькая, худенькая, бледная до фарфоровой белизны и какая-то удивительно невесёлая, какой, скорее всего, и должна быть настоящая инфанта. Он влюбился сразу, увидев в школьном коридоре её, стоявшую у окна с раскрытой книгой. И это было самое странное зрелище из всех, которые ему доводилось видеть к своим девяти годам, потому что на перемене вся начальная школа неистово металась, пытаясь расстаться с вынужденной гиподинамией уроков. А тут окно, рыжие волосы на прямой пробор, свет в колечках баранок, загнутых за ушами, книга в бескровных руках. Он остановился на всем скаку и, сдавая задом, не спуская с неё глаз, медленно попятился за угол, из-за которого всего секунду назад выпрыгнул в припадке оживлённого восторга.

Застыв в недоумении, он стал следить за ней из своего убежища: коричневое платье, чёрный фартук, белые манжеты, октябрьская звёздочка у сердца — первоклашка или уже из второго? Вообще-то она довольно обычная, если бы не книга, ну, и ещё воротничок. Он как-то чуть кружевнее, чем у остальных: немного больше размером и пышнее заложен в складки, и выглядит как нечто отдельное, а не часть школьного платья, точно залетел сюда из другой жизни.

Это потом выяснится, что всё-таки первоклашка, что в праздники к воротничку добавляются особенно громадные, словно нанизанные в семнадцать слоев, кружевные банты, что носит платья с брошками под воротничком, что даже когда оживлена и весела, лёгкая грусть сквозит в её подёрнутых серой дымкой глазах, что россыпь веснушек делает лицо ещё бледнее, губы — бескровнее, что живёт она в пятом доме, во втором подъезде на первом этаже. Слава Богу, что на первом, иначе пришлось бы краснеть, а так просто проскользнул мимо, пока она открывала дверь своей квартиры, будто шёл к какому-то знакомому по делу. Затем пришлось тихонько выбираться назад, прижимаясь к стене, уходить под окнами в сторону — всё казалось, что она выглянет и заметит. Слово это “заметит” — синоним слова “смерть”.

А ещё она носила поистине громадные шапки, будоражившие воображение и казавшиеся какой-то сложной механической конструкцией. Совершенно очевидно, что кто-то ей эти шапки специально вязал, поскольку они были в два раза больше, чем обыкновенные, и над её головой они образовывали пространство, равное по величине самой голове. Пространство, которое не проминалось, не проседало и было увенчано громадно-восхитительным помпоном. Если бы не завязки, фиксирующие шапку под подбородком, то она, несомненно, слетела бы — и вот тогда с каким бы удовольствием он разглядел её содержимое! Ну, не может же она быть пустой! Это точно! Она просто обязана быть наполненной. И он пытался представить, чем. То это были девчачьи бирюльки: блокнотики, банты, резиночки, карандашники, куколки, лепесточки цветов и пёрышки птиц. То вдруг казалось, что там целый тайный мирок: живут маленькие человечки, подобные тем, что в часах крутят колёсики и перемещают стрелки, что там у них целый пушистый городок с домиками, лесенками, садиками и мостиками... А когда он, будучи в гостях, случайно увидел в книжке, где были собраны репродукции с картин известных художников, портрет инфанты Маргариты, то был сражён тем, что это она, а посему, сомнений быть не может в том, что в шапке сложены

жемчуг, веер, перчатки и, конечно, записки от тайных дыхателей, к которым, если честно, он её несколько ревновал.

И книжка, где впервые он её увидел, была удивительная, почти огромная, с глянцевыми листами и на немецком языке. Конечно, он тогда не знал, что бывают художественные альбомы, и уж тем более, что их практически невозможно купить на русском. И вот, оказавшись на дне рождения одноклассника, вместе с другими детьми сидел на диване, разглядывая экзотику. А Танька Солович, держа её на коленях, по праву того, что сидела в самой середине, аккуратно приподнимала страницы, как приличная воспитанная девочка, за правый верхний угол и перелистывала под возгласы: “Всё, уже можно дальше”. И когда вдруг доходили до обнажённой натуры, девчонки краснели и смущённо хихикали, а Тёмка Коробов грубовато басил: “Во, блин, дают”, — а он смущённо отворачивался и смотрел то в окно, то на праздничный стол, который всё ещё заполнялся новыми блюдами.

— Ну, дети, прошу садиться. Убирайте всё и к столу. — Мама именинника сняла передник, книга захлопнулась, пряча в своих недрах инфанта.

* * *

Ради неё он поступил в художественную школу, хотя это был несколько сомнительный поступок: вроде нормальный пацан, а полез в бабские дела. Но удивлённых разговоров хватило всего на пару дней, а посему инфанта продолжала его вести за собой. Дело в том, что он самонадеянно решил, что должен выучиться и её нарисовать. Нарисовать не так, как Веласкес, нет, а так, как она тогда стояла у окна. У него и название уже сложилось в голове: “Портрет инфанты у окна”.

Он думал, сейчас его быстренько выучат всему, и он уйдёт из художки, ему бы только чуть-чуть, только одну эту картинку нарисовать, а там уж больше ничего и не надо. Но оказалось, что всё не так просто. Вернее, даже ужасно! Вместо того чтобы рисовать что-то дельное — горшки, горшки, горшки, яблоки, лимоны, груши, бутылки, скрипки, книги, вазы, тыквы, цветы, но самое ужасное — драпировки. Складки, складки, складки. А! Хотелось быть! Все эти ужасные слова: “разберитесь в тоне”, “следите за контуром”, “тон, полутона, свет”, “где рефлекс”, — способные свести с ума. И он никак не мог понять, почему синий и коричневый такие разные и очевидно непохожие — по тону одинаковые! Иногда казалось, что просто стал слепцом и бредёт в крошечной тьме, вытянув руки и обшаривая пространство слепыми пальцами. И выхода нет, и отчаяние берёт за горло, и инфанта ускользает от него, обращаясь в крохотную точку.

Однажды в школе, оказавшись рядом с ней на скамейке, он сел переобуться, посмотрел почти в упор, зло, раздражённо, а она, почувствовав на себе посторонний взгляд, повернула к нему лицо, наклонила голову чуть набок и улыбнулась своей тихой, какой-то шелестящей улыбкой и спросила: “Мальчик, ты чего сердитый?”

А он, мгновенно растерявшись и совсем уже не злясь, неожиданно застигнутый врасплох и обезоруженный её словами, вдруг почувствовал, что внутри спадают какие-то засовы и отрываются тайные дверочки, и ветер, прохладный и чарующий, врывается туда, в самую сердёвку, куда посторонним вход воспрещён, и, пытаясь запахнуться, защититься, не пустить, он грубо ответил: “А что разложила тут свои шмотки? Одна, что ли?!” — и толкнул на пол её огромную пушистую шапку.

Шапка упала, отскочив, как мяч, и он увидел, что её нутро наполнено газовым платком, чтобы держать объём. А инфанта, захлопав ресницами, подавила в себе подскочившие вдруг слёзы, встала и, подняв с пола шапку, отряхнув и надевая на голову, сказала: “Ты просто прости того, кто тебя так обидел. И всё пройдёт”.

Затем надела пальто и шарф и пошла к выходу. “Я не злюсь... я так просто!” — хотел он крикнуть ей вслед, но не крикнул, потому что их разделяли века. И он ещё не знал, что жизнь есть приближение, сближение

и соединение людей и судеб, он ещё думал, что взрослость — это когда ты отдельно от всех, когда сам за себя.

* * *

— Александр Павлович, вы, наверное, за всю жизнь этого Давида раз сто слепили целиком, ну, если зачасти вместе сложить, — он не смотрит сейчас на преподавателя, он со всей важностью лепит копию гипсовых губ микеланджеловского творения.

— Да что там сто... пятнадцать тысяч раз слепил, — отзывается Александр Павлович, настроенный сегодня шутливо.

И вообще, он сегодня какой-то особенно праздничный — не иначе как влюбился: вот и стрижечка свежая, и лицо оживлённое, и глаза с радостной искрой, и наодеколонился. Точно влюбился!

— Вы, господин шутник, работайте больше руками, что вы прилипли к инструментам. Материал надо чувствовать пальцами. Наблюдайте за парными точками. Где они у вас? Ось симметрии опять замылилась. Ну, что это такое?

Александр Павлович склоняется, делает пару точных движений и приводит подбородок в полное соответствие с моделью. Затем молча (но так и хочется сказать, “напевая”) удаляется, кружит среди станков с глиняными полуфабрикатами, над которыми с разной долей успеха бьются его студенты, делает замечания, показывает, смотрит пристально, склонив свою аккуратную голову набок.

А ему, следящему в эту минуту за преподавателем боковым зрением, вдруг представляется, как сизый вечер проникает в мастерскую сквозь приоткрытые форточки своими серыми крыльями, растекается белесоватым туманом, превращая всё пространство в одну сплошную тень. И в этом мраке редкими всполохами, похожими на свет уличных фонарей, начинают светиться фигуры людей, раскачивающихся вокруг глиняных моделей. И кажется, что там, за окном, есть люди, которые в сговоре с темнотой, что есть какое-то тайное общество поддержки вечерних сумерек, члены которого поднимают невидимые занавесы, пуская серую хмарь в наш мир. Тьма делит, разобщает людей: именно в сумерках каждый выглядит ещё более одиноким. А мрак обретает плоть, скользит туманными струями между людьми, слепыми пальцами ощупывает тела, заглядывает в лица. Но здесь, в комнате, люди смелее, чем кажутся, и их пылкие души не дают тьме сомкнуться и поглотить мир. Их страстные сердца отвоёвывают кусочки пространства, освещая их трепетом чувств, словно неведомый Ангел Хранитель Одуванчиков, чиркая огнём, зажигает белое пламя. И вот, уже все они — одуванчики, мерцающие в темноте своими пышными белёсыми головками. И разорвана ткань грядущей симфонии глубокой сизой мглы. И мир опять спасён. Но надолго ли? Хрупок мир воздушных цветов, всегда готовых к полёту.

* * *

— Нет, сегодня совершенно чумовая луна. Смотри же, смотри! Она похожа на яркий мандарин! — Варька теребит его за рукав куртки и тычет в небо.

— Почему именно на мандарин? А не на лимон, например? — интересуется он, поднимая лицо в сторону указующей Варькиной руки.

— Нет, ну, вы на него посмотрите! Издеваешься? Оттенок цвета совсем другой. Здесь чисто мандарин, — подводит Варька черту.

— Согласен. Мандарин, уговорила.

— Нет, ну, что значит — уговорила? Ты сам разве не видишь?

— Ой, вижу я, вижу.

— Вот ты так всегда, лишь бы отвязаться. На всё согласен, только б тебя не трогали. Ты просто как бирюк какой-то.

— Варь, ну, не сердись, в самом деле.

— Да ну тебя!..

И дальше до метро она шагает уже молча. И ему досадно от того, что Варька думает теперь, что он такой толстокожий и бездушный, что прекрасные и возвышенные чувства ему неведомы. И хотелось бы ей всё это объяснить, но он наперёд знает, что это напрасный труд, что вот начни они с ней сейчас говорить, она станет возражать, приводить свои доводы — и всё рассыплется, как карточный домик. Надо, чтобы не перебивали, слушали, да и даже при этом он не сумеет растолковать ей и половины. Да и возможно ли — объяснить себя? Это надо прожить. Простоять летним вечером во дворе, провозжая семейные инфанты Маргариты, переезжающее в неведомую даль, увидеть её растерянное лицо в последний раз, за секунду до того, как за ней закроется дверца машины. А потом сесть на лавку, потому что нет больше сил держать на плечах эту вдруг навалившуюся пустоту, сидеть и ни о чём не думать, а только слышать, как она (эта самая ужасная и звенящая пустота!) тихо скользит внутрь, убивая тебя.

А Варька... Варька напоминает ему подбитую ворону, что, расправив крылья, скачет то на одной, то на другой ноге, свешивает чёрные плоскости крыльев и становится похожей на индейский вигвам, домик-шалаш, в котором бьётся жизнь, трепещут мысли и чувства. И Варька в своём коротеньком пальто с раструбами широких рукавов, всё время находящимися в движении, тоже домик, где сокрыты от посторонних глаз её тайны, страсти — её жизнь.

Он резко остановился посреди улицы. Варька, проскакав пару шагов вперёд, тоже замерла, развернулась, и вот уже почти кричит: “Ты что? Что случилось? Тебе что, плохо? Ответь! Ты меня слышишь?”

И он, с трудом преодолевая навалившуюся вдруг немоту, еле слышно: “Подожди. Всё хорошо. Подожди. Помолчи. Сейчас... сейчас... а то я потеряю...” — и стоит соляным столбом посреди улицы, посреди города, да и мира всего, словно земная ось вдруг пронзила его, унося душу из тела в самое дальнее поднебесье. Стоит, пытаюсь ухватить, повернуть, рассмотреть внезапно пришедшую мысль: чиркнувший по краю восприятия яркий, но пока ещё не до конца ясный образ.

Это был тот самый первый раз, когда в ответ на мучения и горы смятых эскизов, в ответ на метания в поисках, когда до шизофрении кружишь детали композиции в голове, переставляя её элементы, в ответ на тупое упрямство, когда просто рисуешь или лепишь всё равно что, только затем, чтобы не думать о невозможности создания того единственно необходимого образа, пришло то предчувствие, какое скребётся на самом твоём доньшке зародышем чего-то явного, которое будет воплощено; то предчувствие, что вдруг получает свою осеязаемость, и ты это не выдумал, не домыслил, а получил, как дар, как сокровище; оно словно само по себе родилось в тебе вдруг и ниоткуда. И он даже чуть согнулся, чтобы удержать, не упустить, не выронить это из себя. А Варька кружит, тревожно поднимая брови. Кружит, но молчит. Молчит, как он и просил.

И он удержал. Это был ворон. Ворон — мир, небесный, распластаный над миром людей, где били в бубны шаманы, вызывая солнце, где стояли чумы и паслись олени, где древние легенды сплелись с реальностью. И крылья птицы падали в бесконечность, и перья взлетали выше всего видимого, и лапы вгрызались в землю когтями, становясь силой корней. И зачарованная Варька прищуривала глаз, пытаюсь скрыть восторг, изучала композицию, рассматривая каждую деталь, забывая дышать.

И он был счастлив радостной усталостью творца, и ему казалось, что мир вокруг, маленький, понятный и уютный, способный уместиться в кармане пиджака.

А потом над его “Вороном” кружил. О! Нет! Не кружил! А тонконогой цаплей рассказывал Александр Павлович, заложив руки-крылья за спину. Шёл, пристально ошупывая взглядом, раскачиваясь мучительно-мерно в тишине аудитории. А он стоял поодаль и не мог дышать от ударов сердца, подпрыгнувшего куда-то в голову: ноги подкашивались, очень хотелось упасть

на колени, а голова раскалённым шаром витала в пространстве, будто оторванная от остального тела.

— Ну-с, — прервал шагистику Александр Павлович, — что я вам хочу сказать. Композиция в целом неплохая. Но вы всё слишком усложнили. Попробуйте упростить. Избавьтесь от лишних деталей, чтобы они не отвлекали от главного. Но в целом неплохо, неплохо. Есть срифмованность.

И дальше он перестал слышать что-либо. Видимо, сработал инстинкт самосохранения, отключивший слух затем, чтобы сердце не разорвалось. Он оцепенел.

— Вы меня слышите? Слышите? — вопрошал, как сквозь сон, Александр Павлович.

— Да, конечно, — пролепетал он, с трудом разлепляя спёкшиеся губы.

— Да вы в обмороке прям. Я вам говорю, что в целом хорошо. Слышите? Хорошо, но дальше идти надо. Понимаете? Главное сейчас — не останавливаться. А идти и искать свою тему, свой почерк. Вы меня понимаете? И проще. Упрощайте, а то завязнете в мелочовке.

Он кивал. И, подчиняясь цепким рукам преподавателя, вскоре был выведен на тёмную улицу с сизым, ещё потухающим небом, где ему стало легче от прохладного воздуха, где его воспалённая голова остыла, а сердце успокоилось. Александр Павлович, получив его согласие, уже тащил его под руку на соседнюю улицу в пельменную, где они взяли по порции основного блюда, чай в гранёных стаканах, по пирожку с повидлом и пристроились за круглый “стоячий” столик у окна.

Ели молча, обжигаясь горячим бульоном, неожиданно брызгавшим и охватывавшим небо и язык. Знали, что так и будет, что брызнет и обожжёт, но всё равно это было так неожиданно, что, словно рыбы, хватали воздух ртом, таращили друг на друга глаза, мотали головой и смеялись. А слов не было... только смех.

Воздух в пельменной был густой и душистый, порой казалось, что он, как в бане, паром клубится в помещении и что снующие фигуры посетителей, словно вышедшие из парилки, раздвигают его своими телами. А то вдруг сейчас достанут венчики и ну махать во все стороны, разгоняя, очищая от удушливости в пользу чистого кислорода.

Играла музыка. Пошловатая песенка, так подходившая и к лицам едоков, и к их масляным рукам, и к распаренной красной физиономии буфетчицы, отпускаявшей еду, и к её франтоватой наколке, торжественно венчавшей пышную, взбитую до предела причёску.

За соседним столиком ближе к выходу стояла некая мадам странного вида. Высокая, тощая, в какой-то детской шапке, застегивавшейся под подбородком (такие ещё называли эскимосками, поскольку они напоминали головной убор этого народа: мех вокруг лица и дублённый затылок). Надета на даме была не по сезону “лисья” шуба: такая рыжая, почти огненная, с ворсом средней длины, перехваченная широким чёрным ремнём. Довершали облик дамы варежки на резинках, торчавшие из рукавов. “Жези”, — определил он её для себя. “Луноликая Жези... месяценосная”, — уточнил ещё раз мысленно, внимательно осматривая её лицо, действительно похожее на месяц или даже, скорее, на дольку арбуза или дыни: острый подбородок резко выдавался вперёд, из-за чего всё лицо казалось каким-то вогнутым; кругленькие глазки смотрели на окружающее наивно-простоудшно. Жези тихонько приплясывала, словно эстрадная певица возле микрофона, качала в такт разносящейся музыке головой и пельменем, нанизанным на вилку, — и пела. Пела почти беззвучно, но явно повторяя звучавшие слова. Пела самозабвенно, не обращая ни на кого внимания. И пошлая песня вдруг перестала быть пошлой, а обернулась своей иронической стороной, наполнилась каким-то новым смыслом.

Он усмехнулся, Александр Павлович, стоявший спиной к Жези, обернулся, оглядел её, поняв, кто стал объектом внимания ученика, и, вернувшись к своим пельменям, спросил:

— Любуешься? Да, вот это персонаж.

И улыбнулся так хорошо, что светло стало на душе. Словно эта неведомая Жези была огонёчком, от которого по невидимому бикфордову шнуру разбегались вокруг искры, зажигая сердце счастьем.

— Любуюсь! — без всякого страха и тушёвки перед преподавателем сказал он.

— Вот и хорошо. Всё в зачёт. Все впечатления, все люди, все встречи — всегда в зачёт. Запомни!

— Хорошо.

“Ещё как хорошо...” — пело его сердце. А сам он удивлялся, что впервые перестал робеть перед учителем, что вот так здесь, не вымолвив почти ни одного слова, они стали вдруг близки и понятны друг другу. А что им понятно? В чём близость? Кто в этом может разобраться? Просто хорошо! Жить хорошо! Обжигаться пельменями хорошо! Смотреть на эту волшебную Жези тоже очень хорошо.

* * *

Директриса орала уже целый час. О том, что они подлецы, позорят семьи, что вот матери сидят и плачут, а им хоть бы хны, что управы на них нет и всыпать бы, что в восьмом классе уже ведь лбы здоровые, а ума нет.

Они с мальчишками стояли на малом педсовете перед учителями и собственными родителями. Стояли все восемнадцать человек мальчишек их 8-го “В”. И Васька Котов, Кисёныш, первым стал каяться, обещать, что больше не будет, что всё понял. А он стоял и думал: “Ну, как это так бывает, что вот они приличные, почти примерные мальчики, каковыми их считали до сих пор, хорошо в принципе учащиеся, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превратились в хулиганов-рецидивистов! И почему? Всего лишь из-за одной безобидной шалости”.

А Тёма Коробов шепчет ему на ухо в ответ на покаяние Котова: “Ну, Кисяндер, ну, тварь! Всё, я тебе говорю, он — труп!” Но всем было ясно, что трупов не будет. Что скоро все всё забудут, хотя эта история и будет всплывать периодически, пока они не закончат школу.

— Вы же пионеры! Вы же должны понимать, какой пример подаёте другим! Это вы что хотели продемонстрировать?! Что это за революционный протест?! Вам чего не хватает? Вам Родина всё дала: и бесплатное образование, и медицину, и кружки разные, вон Дворец пионеров какой отгрохали, право на труд вам государство обеспечило, и право на отдых, а вы, значит, так! И откуда в вас эта гниль? Вы же советские люди! — грохотала теперь завучиха.

Матери плакали. Земля уходила из-под ног, но он не каялся. Не мог. Это было бы предательством самого себя. Ему до боли, до спазмов в горле жаль маму, которая тихо утирала лицо платком, но не могла унять слёз. Она несколько раз пыталась смотреть в окно, чтобы успокоиться, сжимала до боли ладони, только бы унять этот плач, но ничего не помогало. Самое ужасное, что и на него она не смотрела: всё время куда-то мимо, в сторону, на директрису, учителей, а если и на него, то как-то, скорее, сквозь него, будто и не стоял он возле доски, распинаямый больше и дольше всех, поскольку считался зачинщиком, и на все вопросы: “Как тебе это пришло в голову? Что ты этим хотел доказать?” — отвечал односложно: “Просто так... Ничего... Это шутка была. Просто шутка”.

— Шутка, — редела директриса. — А на лица эти обезьяньи рожи зачем нацелили? А по школе зачем ходили? Взяли бы и дома их напаялили. Или что, дома эффект не тот?

И он понимал, что ничего не может им объяснить. Не поймут эти рыби морды, пучащие глаза и хлопающие красными губами, что и как произошло. По факту — да. Они, вероятно, даже правы. Похоже было на манифестацию, здесь он согласен. Здесь сказать нечего! Ещё бы! Нарисовали маски на альбомных листочках, прикрепили тонкую резиночку, вырезанную ножницами из обычной белой бельевой, и давай в этих масках по школе

ходить. Зрелище было, конечно, великолепное! Во-первых, потому что смотрелось всё как-то мистически: синяя форма, пионерский галстук алым пятном и фарфоровая белизна маски. А во-вторых, сами маски — лица испанских синьоров. Он сам нарисовал их все восемнадцать! Каждому персональную! И вложил в них всю свою тоску по инфанте Маргарите. Это всё в её честь! Но об этом не знал никто! Ни один человек в мире не был посвящён в его чувства.

И вот уже по школе шагают: Дон Петюня (Петька Демьянов), Дон Алехандро (Сашка Киреев), Дон Антон (Тёма Коробов) и Иуда — Дон Кисёныш. И вся школа врассыпную от восторга.

Всего одна перемена... А потом всё сорвано, измято, растерзано.

О, прекрасная инфанта Маргарита, я сделал всё, что мог. Я шёл к вам, но был сражён шайкой разбойников, напавших так подло из-за нескольких монет на поясе в моём кошельке. Я не успел сложить серенаду для вас, поцеловать вашу мраморную руку... Счастье ускользнуло. И вот я лежу почти бездыханный на рыжем песке просёлочной дороги с глубокой раной в груди. Мне осталась всего пара слов, четыре вдоха, шесть ударов сердца! Но эти удары — вечевой колокол, кричащий о моей любви, эти вдохи — запах рыжей пыли, похожей на цвет ваших волос, эти слова — “Как прекрасно умирать от любви к вам, сеньора...” Всё. Теперь многоточь...

* * *

Он проснулся. Болели бока, отлёжанные на жёстком полу, где он спал вот уже вторую ночь. Бока болели, но ни вставать, ни поворачиваться не хотелось. Не хотелось даже открывать глаза. Пахло мандаринами. И лёжа на импровизированном матрасике, больше похожем на собачью подстилку, он думал, что вот так мандаринами пахнет само счастье: это раннее утро, с хмурым, почти неразличимым зимним рассветом, обрывки вчерашней радости, когда принесённые им в сетке мандарины, добытые мамой в неравном бою с извечным дефицитом и переданные ему возле станции метро, эти мандарины были высыпаны на стол, ошупаны и обнюханы, окутаны возгласами восхищения. И, наконец, очищены и съедены, а корки свалены горкой посреди стола. И это они сейчас ещё благоухают, дарят последние минуты душистой благодати, увядая и становясь жёсткими и скрюченными. Всего через несколько минут их смахнут в мусор — и счастье потухнет, будто его и не было. Поэтому он не спешит открывать глаза, он дышит угасающим великолепием, радостью новогодних праздников, которые всегда сулят что-то необыкновенное, дарят какие-то надежды, придают сил и уверенности в том, что светлое будущее всё же существует, и, при известном желании, до него лишь рукой подать.

Он открыл глаза, потянулся. Его руки и ноги осторожно обогнули ножки стола, под которым он спал за неимением другого места, вылезли наружу, вытянулись до предела, дрогнули в напряжении и бессильно упали на пол.

— Рота, подъём! — гаркнул он.

Ребята на койках зашевелились, кто-то недовольно буркнул, Сёмка Степанов вскочил и, ничего не понимая, качая включенной головой, сел на кровати.

Он, как черепаха, втянул свои руки-ноги обратно под стол, перевернулся и, встав на четвереньки, выполз, оставляя свой панцирь позади.

Комната проснулась, зажила, чайные ложки застучали о стенки бокалов, размешивая сахар, мандаринные корки полетели в мусор — воздух наполнился запахом яиц и колбасы. Финита ля комедия! Что и требовалось доказать.

Они готовились к просмотру, сдавали работы, рисовали с утра до ночи, как сумасшедшие. Серая глиняная пыль осела под ногтями, и даже зубная щётка, которой её вымывали, порой не спасала: мотаться домой и обратно, тратя на дорогу два часа в один конец, было бессмысленно. Вот он и поселился в общежитии ребят под столом.

Удобно. До мастерских рукой подать. К тому же это пьянящее чувство свободы, когда не надо быть лицом подотчётным со всеми этими вечными, похожими на выстрелы в спину: “куда пошёл”, “когда вернёшься”, “с кем гулял”, “где были”. Не надо докладывать, не надо врать — это почти полёт. И они бегут по заснеженным улицам, и на Сёмке Степанове хлопает ушами танкистский шлемофон. А они с Аликом и Колькой, раскинув руки, заходят на посадку, словно стайка птиц, — врываются в учебный корпус, подрезая у самого входа Александра Павловича, вжавшегося в стену, сыплются горохом к окошку раздевалки и, отхлынув, исчезают в аудиториях.

Александр Павлович ожившей цаплей выдвигается следом, снимая на ходу “пирожок” с головы, расстёгивает пальто.

— Вот природы! А? И где их берут-то, свору енту оголтелую. Вот чуть порядочного человека не задавили! Душегубцы! — возмущается гардеробщица Вера Романовна нарочито громко.

— Добрый день, Вера Романовна, — здоровается с ней Александр Павлович.

— Здрасьте, здрастьте... Вот, говорю, природы, чуть вас не зашибли, — повторяет женщина, почти приседая от уважения к персонам.

И Александр Павлович, улыбнувшись, удаляется прочь, ничего ей не отвечая.

А он лепит, ломает, снова мнёт глину, мечется по коридору, бессмысленно глядя на пейзаж за окном, пытаясь уцепить то единственно верное решение, тот композиционный ход, который удовлетворил бы его полностью. Он не может ошибиться. Не имеет права. Его курсовая работа — Инфанта Маргарита. Не Веласкеса, конечно. А та — с шапкой-коконом, с книгой у окна, с мраморным профилем в окошке отъезжающего грузовика... или, вернее, даже не она, а какая-то вдруг другая, словно ещё одна, неведомая, стоящая где-то у кромки его предчувствий.

Кажется, легче сойти с ума, чем уловить то, что колыхнется где-то на поверхности кожи, прикасается к ней, будто шёлковая ткань, скользит, исчезая. И вот ещё чуть-чуть — и можно будет с ней слиться, ухватить, сдерживать исчезающее движение, но всё тщетно, она растворяется, обрекая тебя на новые поиски, новые витки страданий, терзаний и метаний.

А Варька крутит вилку за самый кончик, машет ему свободной рукой, делая пригласительные жесты к своему столику в столовой. И он согласно кивает ей, ставя на поднос комплексный обед. Варька что-то возбуждённо рассказывает своей подружке Ане, с которой учатся в одной группе, живут в одном городе у другого конца Москвы. Он рад, что его не цепляют, не втягивают в беседу. Он хлопает борщ и смотрит, смотрит на Варькину руку, продолжающую вращать вилку туда-сюда, собирающую вермишель в причудливые складки. И вот оно! Вот же! Эта рука с гибкими пальцами, эта вермишель — имитация кружева: руки, манжеты, корсеты, шнурки, парики.

Он резко встаёт и стремительно идёт в мастерскую, чтобы успеть, не растерять, не забыть, спешит, додумывая нюансы на ходу.

Нет, Александр Павлович не ходит сейчас цаплей вокруг, он неподвижно сидит на стуле. Лучше бы ходил! Лучше бы бухтел, делая замечания, а так сидит, как доктор перед смертельно больным, и словно не решается огласить диагноз. А он перед Александром Павловичем, как бедный родственник, как паж, почти склонился пополам, сложил руки, словно собрался взять благословение у священника и умер, вот уже четыре раза умер за последние семь минут.

— Недурно. Продолжайте работать, — только и изрёк Александр Павлович.

“Вот спасибо... недурно... Не ел, не пил, не спал, пахал, как проклятый... А в результате — “недурно”, — пронеслось у него в голове.

— Она прекрасна, — тихо прошипел он.

— Что? — Александр Павлович поднялся со стула.

— Она прекрасна, — сказал он твёрже.

— Я и говорю — недурно. Работайте. Надо облизать, довести до совершенства. Всё, чему учил. До последней капли. Всё отдайте. Всё, что знаете. Вперёд. Работать, — и вышел из аудитории.

Он упал на стул, с которого только что встал педагог. Хотелось плакать, но не плакалось. Внутри была объективная пустота. И теперь он смотрел на свою работу оттуда, и взгляд его стал тоже объективно отстранённым.

Она была хороша... Руки, раскинутые в стороны, с запястьями, сжатыми шорохом белых крахмальных манжет, с фигурой, наклонённой вперёд, как в полёте, с устремлённым вверх лицом, словно вырванным навстречу переменам из плена жёсткого воротника, схваченная в минуту некоего падения, похожего на прозрение, застигнутая в той точке, когда кажется: вот сейчас душа оставит тело — и мы это увидим. А перед ней тоже она, только не парящая, не готовая взлететь, а распластанная на земле, раздавленная судьбой, перемолотая обстоятельствами. Его “Инфанта перед зеркалом”. Две инфанты Маргариты: живая и отражение. В том ракурсе, что искал он много дней и нашёл в Варькиной руке с вилкой.

Да, инфанта была хороша... но не великолепна.

И он встал со стула, надел синий фартук, укрывавший его с головы до ног и, подчиняясь справедливости слов Александра Павловича, начал работать, доводя всё до совершенства. И это родило в нём особое сладкое чувство, сравнимое только с тоской по несбывшимся мечтам.

* * *

Скульптура человечна по своей природе и божественна одновременно. Человечна в силу того материала, из которого она рождается. Того извечно-го земного теста, что было с самого начала времён, когда Бог сотворил твердь. Глина — кусочек земли, из коего слеплен, по преданию, и сам человек, той земли, что дышит жирной, спелой благодатью, такой отзывчивой на ласковое прикосновение рук. Той земли, которую из века в век вспахивает и засеивает человек, меняя облик её, подчиняя своим прихотям и желаниям. Той земли, которую лишь человек способен изуродовать и отравить до полного оскудения, но вместе с тем способен изуродовать и возвысить, воспеть своим трудом, возродить любовью, жизнь за неё положить. Или вот так вытащить на свет Божий и раскрыть её суть, её душу, придавая новые формы, создавая невиданное до сих пор произведение.

Глина божественна. В своей пластичности и умении следовать замыслу творца. И когда она в руках — человек подобен Всевышнему: он также вдыхает в неё душу, заставляя жить своей жизнью. И скульптура, как благая весть, ведёт свой рассказ от человека к человеку своими заповедными тропами, закоулками памяти, где на самом деле ничто не исчезает, а просто хранится до срока.

И всё-таки глина сильно замыкает человека в себе: кажется, что не ты терзаешь её, придавая форму, а она, сопротивляясь, моделирует, нет, не твой облик (хотя, может быть, и его), а твою душу, твоё естество, словно проникая через поры кожи внутрь, скользя по венам, оседая в сердце. И вот ты уже у неё в плену, но это сладкий плен, которому можно отдаться без остатка, где можно прожить весь век, не замечая, что ты пленён.

Марья Ефимовна, бывший врач-педиатр, малюсенькая, худенькая старушка в вечной вязаной серой шапке на голове, сидит на стуле, и кажется, что её ножки в клетчатых шлёпанцах не достают до пола, а свисают, как у ребёнка. Марья Ефимовна, подруга его тётки Аллы, дымит, как паровоз, и не чтобы что-то “благородное”, а грубые папиросы. Он-то к ней привык, а вот Варька смотрит с нескрываемым восторгом и готова уже буквально на колени умолять, чтобы та попозировала ей для портрета.

Марья Ефимовна посмеивается хрипатым басом, звякает чашкой с кофе, пыхает папиросой и отказывает.

— Ну, Марья Ефимовна, ну, пожалуйста... — На Варьку просто жалко смотреть.

— Да бросьте вы! Зачем это? От ведь вздумали рисовать старух. Эка невидаль! Красавиц, что ли, мало?! Вот Аллу напишите.

— Марья Ефимовна, это другое. Как вы не понимаете... Ну, хоть пару набросков? А?

— И не просите. Что за блажь! Вот ещё вздумали!

— Марья Ефимовна, а я вам шапку свяжу вместо вашей... такую же... новую... Ваша-то вон вся линялая.

— Шапку? — неожиданно оживляется старушка. — Э, милая, да такую шапку больше никто связать не сможет. Рецепт утрачен. Я её почитай уж лет пятнадцать ношу. Сколько кто ни брался — не смог такую же связать. О как!

— Я смогу. А вы мне портрет. Слово даёте? — горячится Варька.

— Хорошо. За шапку. Но будет не такая — договору конец.

— Не волнуйтесь. Копейка в копейку будет. Она легко вяжется. Мне только вашу голову измерить надо и нитки подобрать.

— Давай, снимай мерку, — соглашается Марья Ефимовна.

И всю обратную дорогу Варька весело хохочет, как обомлеет Марья Ефимовна, когда она ей свяжет шапку, что всей хитрости-то в ней только на два притопа: надо сначала связать резинкой ободок по голове, а потом, набрав петли по его длине само полотнище шапки — английской резинкой. Вот и всё! Варька подробно рассказывает, что оттого и нравится шапка старушке, что удобно сидит из-за плотного ободка, а дальше наподобие берега и красиво ложится “симпатичной шишечкой”.

Он ничего не понимает в этих её объяснениях, но радость передаётся и ему, он словно попадает в воронку таких забытых простых вещей, таких понятных отношений. Ему хорошо и легко: это реальная жизнь реальных людей с их простыми желаниями и незамысловатым счастьем. Это то, чего ему давно уже не хватает, о чём он почему-то стал забывать и к чему так вдруг захотелось прижаться — надеть это чужое счастливое возбуждение на себя, как надевают пальто или пиджак.

И вот уже двадцать минут безостановочно Марья Ефимовна поёт Варьке дифирамбы. Двадцать минут кружит по квартире тётки Аллы, заглядывая во все зеркала, нежно поправляя новую вязаную шапку. И её восторги золотыми искрами брызжут через край, радостной волной накрывают, и все вокруг тоже становятся глупо счастливыми, тем самым первозданным счастьем, которое теряется за долготой прожитых лет и так характерно для детей и стариков. Варька явно любит произведённым фурором... И вот они обе, обнявшись от восторга, кружат по кухне: и Марья Ефимовна все спасибо без остановки, а Варька напоминает о данном обещании.

Старушка валится на стул и, придвинув пепельницу, затягивается, кажется, что с особым удовольствием. Да, так и есть! По лицу видно, что у папироски сегодня другой вкус.

— Не, я не согласна, — пускает дым Марья Ефимовна, — но уговор есть уговор. Посижу.

— Спасибо вам! — Восторгу Варьки, кажется, тоже нет конца.

И они сговариваются, что, где и когда будет. И Марья Ефимовна приходит в назначенный день, а он открывает ей дверь, помогает снять пальто и... видит на ней старую вязаную шапку. Варька, выбежав в коридор, тоже сразу натывается на неё взглядом и, недоумённо вскинув брови, спрашивает:

— Марья Ефимовна, вы опять в старой?

— Конечно, — уверенно отвечает та. — Не могу же я носить такую красоту в каждый след. Она у меня теперь для парадных случаев. Кстати, я вам вот... принесла подарочек.

И она подаёт Варваре пакет, в котором лежит коробочка, похожая на упаковку от будильника. Варя ловкими пальцами вынимает содержимое. Это маленькая заводная итальянская карусель.

— Боже! Прелесть! Откуда она? — сыплет Варька.

— Это мой Андрей Сергеевич из командировки заграничной привёз. Там ещё ключик, чтобы заводить. Меня он хотел порадовать. Все ковры да хрусталь везли, а он мне три платья да карусель. Я вам её подарить хочу... на счастье. Мы-то вон больше полвека вместе прожили. Ты заведи, лошадки так славно прыгают... здесь такую вещь не сыскать.

И вот уже в комнате тоненько играет незамысловатая мелодия, кружат лошадки, прыгая взад-вперёд, и кажется, что наступил Новый год и в воздухе разлит аромат еловых веток и мандаринов.

* * *

На прилавке, искристом и многоликом, разложены все самые вожделенные вещи, о которых можно только мечтать: ручки, книжки, цветные карандаши, блокноты, кнопки (такие огромные, что класть их кому-нибудь на стул — одно удовольствие!), кнопки в большой картонной коробке, значки и марки. Последние особенно хороши — и можно простоять весь день, разглядывая сквозь стекло витрины все мельчайшие подробности их изображений.

Они с Тёмкой залипают у киоска “Союзпечати” почти ежедневно, благо, начались летние каникулы! Знают все его закоулки, оцепанные пытливым взглядом. Знают, что и где лежит, сколько стоит. И киоскёрша уже привыкла к их лицам в стекле с той стороны и даже угощала их пару раз конфетами. И ребятам во дворе уже можно смело говорить, что у них есть “своя киоскёрша”, вызывая всеобщую зависть.

Всё они знали про этот киоск, кроме одного, того момента, когда в нём появился “Красный конь”. Этого они не помнили. Казалось, что он был там всегда, с самого начала времён, что видел его чуть ли не библейский Ной. Конечно, такого быть не могло! Но избавиться от этого чувства тоже было невозможно.

“Красный конь” был реальнее всего реального: он зиял огненным пламенем и солнечным летом, и в осеннее ненастье, особенно яростно полыхал зимним тоскливым бесцветьем, разрывая белое окружье красным пятном.

Ничего так в жизни не хотелось, как стать обладателем “Красного коня”. И мысль эта была глупейшая: ну, как так, в самом деле, паренёк хочет не машинку, не мяч и даже не велик (если честно, просто знал, что велик никто ему сейчас не купит), а какую-то картинку.

Хотя это не картинка была вовсе, а большой плакат, что висел позади киоскёрши и занимал добрую четверть всей задней стены.

Он помнил в мельчайших подробностях всю эволюцию чувств к этой картине Петрова-Водкина. Сначала “Красный конь” его раздражал: не, ну, дурь же реальная! Как это конь — красный? Потом, разглядывая фигурку мальчика на нём, он стал воображать себя на его месте, тоскуя о лете и радостном барахтанье в реке — и ощущение лета и реки, несомненно, были красные! Тут уж ничего не попишешь! И как-то незаметно сросся и с конём, и с водой, и с тем днём, что распластался на репродукции. И вот иной раз, когда плескался с Тёмкой в реке, ловил себя на мысли, что вот всё ему кажется, что где-то обязательно сейчас вынырнет красная морда, фыркнут ноздри и потянется алая спина.

В Новый год он нашёл коня, свёрнутого трубочкой и перевязанного лентой под ёлкой. И теперь вот, ложась спать, всё думал, что у Тёмки над кроватью — географическая карта СССР, а у него — “Купание красного коня”.

* * *

На столе стояла мисочка. Керамическая. Со скучным узором по краю. В ней дымился суп.

Он аккуратно выбирал сначала бульон, долго дул и шумно тянул губами с ложечки, пытаясь не обжечься. Гущу оставлял на потом — она самая горячая. Суп он всё же недосолил. Но подниматься за солью не стал — не хотелось разрушать счастливое очарование момента.

Он жмурился, понимая, что у счастья есть запах и вкус. У него, как и у всего на земле, есть природа (место рождения): этот день, этот дождь, этот лес. И жизнь готова дарить человеку свои щедроты снова и снова. Вот

он в своём сегодняшнем одиночестве на остывшей даче ощущает всю полноту сопряжённости мира и человека, словно скрученных в один упругий жгут: неразрывно, навечно и справедливо. И всё это понимание, всё счастливое погружение в “философию” бытия уместается в ложке супа. Приходит понимание, что сейчас, в эту минуту высшего наслаждения, когда будто открываются невидимые двери, письма на скрижалях не требуют перевода, читаясь бегло с листа, ему до боли не хватает Варьки. И было бы чудом (самым великим на земле!), если бы она, вопреки его запрету не приезжать, не мешать работать, приехала бы. Господи! А? — Он замер с ложкой в руке, глядя в окно, словно надеясь, что сейчас ударит калитка, запахиваясь за спиной жены, отрезая их двоих от всего мира: на несколько мгновений он даже перестал дышать, вытянув шею, устремившись туда, прочь, за окно — навстречу ей. А когда смог, наконец, вдохнуть, отчётливо услышал её запах рядом...

Он открыл глаза, и сразу же веки тяжело упали назад, словно глухие шторы, беспощадно отрезающие его от мира. Попробовал пошевелиться, но затёкшее тело не слушалось.

Он снова замер. Боль охватила весь правый бок. “Отлежал, — подумал он, — Надо бы напрячься и встать, ну, если не встать, то хоть как-то пошевелиться. Хоть чем-то дёрнуть”.

Снова попытался открыть глаза, снова хлопнули ставнями веки. Новое усилие — разжал губы, разрывая белую пелену налёта, повисшую тонкой полоской и продолжавшую склеивать рот в уголках губ. Провёл языком по верхней губе, как наждачной бумагой, — сухость; заняло лишённое влаги нёбо, ухнул стоном тяжёлый комок воздуха, ворвавшийся в гортань. Отчаянным усилием он разжал веки.

Первое, что увидел, — разбитый будильник на полу: значит, он его действительно скинул, желая заглушить всепроникающее тиканье, и это был не сон. В кресле, стоявшем возле кровати, свернувшись и поджав ноги под себя, спала Варька. Значит, она уже вернулась. Рядом на тумбочке огромным тусклым апельсином светился абажур настольной лампы. Который сейчас час? Вечер или утро? А может быть, ночь? Непроницаемые шторы не позволяли определиться.

Веки снова упали. Отёкшие, безумно тяжёлые, они казались чем-то отдельным, независимым от него, какими-то живыми существами на лице, что ведут совершенно автономную, неподвластную никому жизнь.

Снова открыл глаза — снова разбитый будильник; блестит отлетевшее стёклышко, раскатились детальки и колёсики. Значит, у него ещё были силы, смахнул он его довольно мощно. Хотя, может, просто будильник был старенький в зелёном металлическом корпусе с огромной кнопкой звонка наверху и ужасно раздражал своим громким, почти наглым тиканьем. Вот он и не выдержал — махнул его об пол. Значит, обезболивающее и антидепрессанты тогда ещё не успели навалиться на него всей своей мощью. А Варька не стала убирать разбитое, чтобы не потревожить его, не разбудить. Словно его и вправду можно разбудить. Он и сам рад бы проснуться от этого лекарственного дурмана: вот так встать бы, встряхнуться, пройти по комнате. И чтобы ничего не болело... И эти мысли... мысли... думы, нет, Думы (то есть с большой буквы), тяжёлые, тягучие и грустные до невыносимости, что выросли в нём, как небоскрёбы, заполонили всё его нутро, упёрлись острой болью в подбородок.

И вся его храбрость теперь состоит только в одном — не жалеть себя, перестать это делать, иначе жизнь кажется бессмысленной, а прожитые дни — бессмысленными. Жалость — это какой-то суррогат, имитация любви, а этого бы ему меньше всего хотелось. Ведь если следовать правде жизни, то у него было столько счастливых дней, что ящиков не хватит уместить всё это.

И эта болезнь, которую он проклинал и ненавидел: да, потому что ему всего тридцать два, потому что у него планы и выставки, мастерская, наконец... Эта болезнь всё же обернулась благодатью. Именно потому, что умирало тело, не хотелось больше сопротивляться, вырывая ещё хотя бы день (может, это такая фаза, может, так на каком-то этапе всегда бывает — равнодушные и надмирная лёгкость?), тело умирало, становясь несущественным

в его жизни, величиной пренебрегаемой, и он вдруг по-новому, с неведомой силой ощутил жизнь. Вдруг понял всю её суть и красоту, которую прежде не мог разглядеть за суетой и текучкой дней.

Теперь он вспоминал все самые счастливые дни. И они были другими, нежели он думал раньше: истинное счастье было не там, где он предполагал.

Только сейчас, скованный болезнью, глядя на Варьку, думая о ней непрестанно, он начал понимать всю её скрытую прелесть, о которой знал, по сути, только он и никто больше на этом свете. Понял всё её благородное, истинно женское, что неподвластно времени и что проявилось в ней с особой силой. Это умение растворяться в мужчине, умирать, давая жизнь чему-то другому: детям, мыслям, чувствам. Умение стать землёй под ногами, плодородной почвой, чтобы на ней вырос другой человек. Она прожила его жизнь. Стала ему твердью и корнями. Чтобы он состоялся, сумел стать тем, кем хотел. Он передумал и пережил заново (особенно с тех пор, как совсем слёг) все чувства и мысли и начал по-другому понимать любовь. Сейчас, словно раздвоившись, разделившись на серёдку и оболочку, сейчас он чувствовал, как любовь к этой жизни по-настоящему наполняет его. Как она с каждым днём всё глубже проникает в его плоть, в его душу, в его суть и как всё менее значимым становится его телесное существование.

Вообще он всегда гордился своей образованностью, умением остро чувствовать и глубоко переживать явления искусства, как только немногие могут; понимать и видеть особым взглядом, испытывать от этого понимания своеобразное упоение; но это всё игры ума, которые лишь подменяют умение наслаждаться самой жизнью и зачастую ведут в никуда, в пустую комнату, где нет людей, но есть портреты. Великих, талантливых, гениальных, но только портреты! Картинки, где нет настоящих людей!

Только теперь он понимал, как прекрасно любить что-то всем нутром, всей своей силой. Любить, не обращая внимания на жизнь, диктующую свои законы, законы удобства и предметного мира. Любить, осознавая, что вещи никогда не заменяют людей. И достижения, успех, обладание чем-то, когда ты думаешь: вот сейчас я добыю то-то и того-то, ещё чуть-чуть, надо тут или там договориться, успеть, появиться, напомнить о себе. И вот оно, желаемое, у тебя в руках. И что? День, два — и разочарование. Человеку всегда всего мало. А в это время настоящее, стоящее, проходит мимо.

Вот так, как он проглядел Варьку в погоне за успехом, в работе, в погоне за химерами, поскольку она для него была величиной само собой разумеющейся, привычной и постоянной.

И отчего он не понимал этого раньше? Почему не ценил? Не мог найти времени, чтобы лишний раз поговорить, выслушать её? Боже, как ничтожно мало времени в этой жизни отдано самым близким людям, как мало сказано им хороших и нужных слов...

Варька пошевелилась и приподняла голову. Щурясь, она пыталась понять, спит он или открыл глаза. Затем уловила его взгляд:

— Ты проснулся?

— Что сейчас? Вечер или ночь?

— Вечер. Почти семь. Как ты? Чего-нибудь хочешь?

— Нет.

Она села в кресле, и в апельсиновом свете лампы мелькнули её локти, поправлявшие волосы.

— Варя, знаешь, ты похожа на Инфанту Веласкеса... Я знаю, тогда это была ты.

“ПАЗИК”

В столовой давали чудесный клюквенный морс, лучший из всех, какие только бывают в столовых маленьких провинциальных городков. И есть я начала именно с морса. Хотя, конечно, в самой фразе “есть морс” заключён какой-то речевой каламбур. Но факт остаётся фактом: первым был морс. В качестве напитка “на закуску”, конечно же, — кофе.

Но до него дело ещё не дошло, а в небе повисла уже та самая серая громада, которая, как правило, всегда становится итогом удивительно душных летних дней, когда человека придавливает к земле вполне осязаемая толща воздуха и хочется из неё безуспешно выбраться, как из сбитого пододеяльника, опутавшего и душащего своей пеленой. И ты барахтаешься, дрыгаешь ногами, пытаешься вырваться, но — увы! Так и сегодня. День был предсказуем. И, честно говоря, дождя хотелось, будто милости небесной. Чтобы лопнул, наконец, этот зной, чтобы ушла телесная жажда, распирающая сосуды, чтобы грянуло, гикнуло, застучало и побежало по улицам, лицам, телу — прохлада, свежесть, бодрящая радость.

— Я так и знала. Сейчас ливанёт! — Это Надежда Геннадиевна сидит напротив и тоже держит стакан с морсом.

— Ничего. До автобуса ещё сорок минут. Переждём.

— У меня, собственно, зонт есть. Добежим.

— А у меня плащ полиэтиленовый. Конечно, добежим.

И сизая тьма за окном, наконец, дрогнула, заходила, хлынула потоками с небес — и предчувствие грозы обрело реальность. Громадные окна столовой наполнили ветром паруса своих штор, и, казалось, всего минута-другая отделяет нас от настоящего плавания, в которое мы непременно должны отправиться, причём первым классом, потому как вместе со столиками, ранним ужином, буфетчицей, сидящей за кассовым аппаратом, стойками с салатами, компотами, котлетами, бифштексами, овощами и фруктами, с поварихой и едоками за соседними столиками. Эх, красота!

Но... но автобус-то ничего не знал о том, что мы не отказались бы поплыть, он выехал на перрон в строго определённое время и одиноко, почти по-сиротски жался под дождём.

И вот мы на крыльце: Надежда Геннадиевна раскрыла зонт, я разочарованно надеваю свой плащ. Разочарованно оттого, что надеялась, выйдя за порог столовой, ощутить освежающую прохладу, но увы! Загустевший на солнце воздух, обретя желейную тягучесть, продолжал мучить удушливым маревом и никак не собирался улетучиваться. Он с завидным упорством неподвижно стоял на месте, словно бык на ристалище, готовый либо погибнуть, либо убить матадора.

Но делать нечего. Мы, лавируя между лужами, заспешили к автобусу.

— Здравствуйте! — я вскочила на верхнюю ступеньку и стала сдёргивать налипший плащ.

— Здравствуйте, — ответил водитель и добавил: — А всё-таки в этом дожде есть какая-то предопределённость.

— Ну, ещё бы, — зашуршала я ещё активней.

Сзади щёлкнул зонт, закрываемый Надеждой Геннадиевной. Я обернулась к ней и спросила:

— Вы не обидитесь, если я сяду одна рядом с водителем? Уж очень я люблю это место. Сидишь, словно в стеклянном стакане.

— Конечно, садитесь, — это Надежда Геннадиевна.

— Только пристегнитесь, — это уже водитель.

— Хорошо, пристегнусь, — это я.

Но ремень не поддался. Я его дёргала туда-сюда, вертелась, даже тайно втягивала до предела живот, но он не хотел застёгиваться, поскольку защёлки самым подлым образом не дотягивались друг до друга. “Надо меньше есть”, — в голове пронеслась, можно сказать, “суперклассическая” мысль. “Вот уж дудки”, — ответил организм, только что испытавший прелесть вкусной еды. Я отложила сумку и плащ, тем самым полностью освободив руки и ноги от вещей, и закружилась энергичнее.

Оказалось, что ремень просто заломился вне поля моего зрения, где-то за краем сидения, и, когда я случайно ткнула туда пальцами, расплёлся и лихо заскочил. Я победоносно щёлкнула замком и, подняв глаза, наткнулась на весёлое лицо водителя, с интересом наблюдавшего за моей возней.

— Я уж думал, вас спасать придётся, — ещё шире улыбнулся он.

— Ничего. Это же ремень, а не змей-искуситель. Как видите, справилась.

— Ну, и славно.

Я надела громадные наушники и включила музыку. Эти наушники у меня специальные, дорожные. Куплены на случай, если надо ехать час или больше, с тем расчётом, чтобы показать окружающим, что я, мол, ничего не слышу, я в домике! Со мной не разговаривать! В дороге я люблю молчать и смотреть за окно.

И вот маленький рейсовый “пазик” “Мышкин — Углич” дрогнул, что-то там задёргалось, заклокотало в его естестве с характерным звуком, и мы поплыли по пустым улочкам, несущим дождевые реки в Волгу.

И, признаться, “пазик” наш был серьёзный, кругленький и рычащий, как майский жук, что спешит по своим неотложным делам. Он двигался как-то особенно осторожно, можно сказать, деликатно. Медленно разрезал вечерний дождь, притормаживая, пропуская вперёд несущиеся внедорожники, сторонился лихачей и вежливо останавливался на обочине или остановке, подъезжая передней дверцей к самым ногам, если видел стоящих людей. Этакий майский жук-джентльмен.

Я любовалась дождём, дорогой, тем, как мы прекрасно неспешно едем, будто двести лет назад, тихонько покачиваясь в бричке (кстати, интересно, можно ли так и в самом деле сказать “тихонько покачиваясь в бричке”? Можно ли в самом деле тихонько в ней покачиваться? Или это мне на ум просто пришёл красивый описательный оборот?) А ещё я любовалась водителем. Сначала его правой рукой. Упругой, с длинными пальцами, какие были бы под стать самому Рахманинову и какие бывают только у очень высоких и худых мужчин, а потом уж, конечно, я любовалась им всем целиком: тем, как он приветлив с пассажирами, как добродушно раскланивается со знакомыми, улыбается незнакомым, промокшим и продрогшим. Он был прекрасен той самой нездешней красотой, о которой пишут в романах и определяют её метким эпитетом “внутренний свет”. Он был словно полон этим самым тихим и лучезарным состоянием, которое делает человека почти святым. На ум пришла история о Фёдоре Томском. Вот! Точно! Образ найден. Это он — Александр Первый — Фёдор Томский — водитель заштатного “пазика”. Всё в этой жизни повторяется. Всё приходит на круги своя. Всё освещает нам путь.

К слову сказать, любовалась им не одна я.

Первое, что мы с Надеждой Геннадиевной сказали друг другу, выйдя на своей остановке в Угличе: “Какой красивый человек!” И больше ни слова — боялись выплеснуть эту радость из себя.

* * *

На восьмичасовой маршрутке я уже неслась из своего Пушкино в Углич. Три с половиной часа промелькнули, как несколько минут, поскольку я спала. Первый раз за все мои наезды спала в дороге. Обычно сижу, таращусь в окно, а тут вошла — стёкла запотевшие, разомлевшие ото сна пассажиры, соседка слева, качающая в дремоте гривастой головой и периодически приваливающаяся к моему плечу, — и я сдалась. Подчинилась общему настроению, закрыла глаза и улетела.

Даже что-то снилось...

В Калязине очнулась и позвонила Оле, которая должна была меня встретить в Угличе. Позвонила и снова повалилась в мерную дрему, покачиваясь, словно в люльке, в дорожном сидении. И опять что-то снилось...

Дремоту разорвал телефонный звонок. Оля говорит, что ждёт меня на Ростовской у монастыря. Маршрутка как раз притормозила, и в лобовое стекло видны голубые купола. “Я уже выхожу,” — кричу в ответ, подхватывая два рюкзака и запахивая на ходу дублёнку. Вылезаю, как медведь из берлоги, на свежий снег. Вокруг метель какая-то особенно яростно-радостная в начале ноября, словно ордынское племя, захватившее город и носящееся по нему с бесшабашным гиканьем.

Мне показалось, что я вышла всего в двух шагах от места, но пришлось топтать минут пять под Олины звонки: “Ты где? Я тебя не вижу”.

“Я здесь, здесь. Иду. Я тебя вижу! Я тебе рукой машу! Видишь?”

Всё же великое счастье, когда тебя ждут. Всё равно — кто, всё равно — где. Главное — ждут. Тянут шею, выглядывают. А ты такой — ап! — и вот уже объятия: “Я так соскучилась! — И я! И я! Я тоже!”

Мы заходим в гостиницу, бросаем вещи и едем на автовокзал на таксомоторе со “своим таксистом Колей”, потому как в 13:00 у нас автобус на Мышкин.

В маленьком зданьице в ожидании транспорта переминаются человек десять. Мы покупаем билеты и выходим на воздух. Там всё же благодать свежего ветра в противовес влажной духоте станционного нутра.

— А у вас варежки на резинке, — это девочка в синей шапке сделала два шага в мою сторону, отлепившись от матери.

— А я знаю, — отвечаю я ей.

— Скажите, а разве тётенки носят варежки на резинке?

— А я не тётенка.

— Как же не тётенка? — удивляется девочка, недоверчиво поглядывая на меня снизу.

— Я просто большая девочка. Поэтому и ношу варежки на резинке.

— А... ну, тогда ладно, — успокаивается синяя шапочка и, вернувшись на место, объясняет матери: “Она не тётенка. Она просто большая девочка. Поэтому у неё резинка на варежках”.

Подошёл автобус. Не “пазик”. Большой, мягкий — провинциальный комфорт, — и мы, плавно покачиваясь, заскользили в сторону Мышкина.

Мы ехали в гости к Сергею Васильевичу Курову, местному краеведу, художнику и коллекционеру. И дорога по угличским взгоркам была поистине прекрасна... Почему? Бог весть. Скорее всего, потому, что некуда спешить, что ты свободен от рутинной каждодневной текучки, что ты, в конце концов, почти путешественник, открывающий неведомые земли. Ну, про неведомые земли — это яхватила, конечно, но в любой дороге, даже самой до боли знакомой, всегда таится элемент неожиданности. Это как в одну реку нельзя войти дважды.

Сергей Васильевич встретил нас какой-то особенно парадный. Засуетился, загромыхал чайником, развернул полиэтиленовые пакеты со сладостями.

Я не пью чай. Я убеждённый кофеман! И тем более не пью горячий чай. Но Сергей Васильевич, налив чая (это я вытерпела, поскольку в левой руке уже держала восхитительную безешку), Сергей Васильевич наотрез отказался добавлять холодную воду в мою кружку: “Что это за чай с холодной водой?! Вот глупости! Он скоро остынет! Пейте!”

Оля поддержала его, дуя в свою чашку, отхлёбывая и жмурясь от тонких струек пара, щекотавших нос. “Ладно уж”, — подумала я, ничего не подозревая. Хотя, по правде сказать, и подозревать было нечего.

Сидели мы хорошо, весело, за приятной беседой, за приятными и воздушными пироженками. Сидели как-то почти по-московски, по-купечески. Хотя чай пили не из блюдец. Всё равно было душевно и хорошо.

Потом ходили по залам Куровского домашнего музея, рассматривали прописи и тетрадки XIX века, одежду и посуду. Спорили о видах кружева, что называется, “с учёным видом знатока”. И наконец, пришло время отправляться нам обратно в Углич.

В просторной прихожей мы надели свои шапки, куртки, сапоги и выкатились на улицу, которая довольно круто уходила у нас из-под ног уклоном к Волге.

Сергей Васильевич, как свадебный генерал, шёл между мной и Ольгой — и это было здорово. О чём-то говорили, над чем-то смеялись... Жизнь определённо удалась.

Вот так невольно и задумаешься, много ли для счастья нужно человеку? В глобальном смысле, возможно, и да. А по сути — всё вот так просто: сыплет снег, идут рядом люди (не друзья-приятели, но близкие и родные, а просто люди), улыбаются, шлёпают сапогами по ноябрьской жиже — и хорошо! И ты шлёпаешь. И ты счастлив! Абсолютно и безусловно! Счастлив тем, что жизнь легка, проста и понятна. Тем, что не нужно мудрить

и что-то изображать. Что нет необходимости, подбирая слова, скрывать какие-то мысли. Тем, что ты сам себе понятен и понимаем другими. И есть какая-то блистательная прелесть в этой твоей однолинейности. Словно вот сейчас ты не ты, а только та твоя абсолютизированная часть, где есть только этот вечер, эти люди, эти слова, и ничего нет ни позади, ни впереди. Жизнь только в одной этой точке: без прошлого и будущего.

Возле автостанции Ольга отбежала в магазин, а мы, как брошенные дети, переминаясь с ноги на ногу, остались под снегом дожидаться её.

“Пойдёмте, посмотрим”, — Сергей Васильевич махнул рукой в сторону освещённых окон дома.

За большими стёклами, сиявшими тёплым светом, расположилась маленькая уютная изостудия. Дети рисовали, между мольбертов ходила учительница, мы смотрели на них и на то, как над тёмным вечерним Мышкиным плавает эта яркая солнечная комната, будто лодочный фонарь над ночной Волгой...

Мы бы пропустили Ольгу, но я успела ухватить её фигурку боковым зрением. Она, не заметив нас, перебежала через дорожку к зданию автовокзала. Мы окликнули её и всей компанией ввалились в небольшое помещение, где продавались билеты.

Я подскочила к окошку и, сунув сто рублей, попросила билет до Углича. Получив его и десять рублей сдачи, я услышала, как Сергей Васильевич говорит: “О, у вас будет прекрасный водитель. Он здесь самый лучший”.

Ну, кто бы, скажите мне откровенно, устоял бы на месте после этих слов! Только ангел небесный, и то лишь потому, что может видеть сквозь стены (или, по крайней мере, мне так кажется, что может). Я ангелом не была и с любопытством заглянула через кассовое окошко ещё раз в служебное помещение, но уже с того места, где всего секунду назад стоял Сергей Васильевич.

“О Боги! Боги! Это он!” — как вскричала бы героиня любовного романа. Но у нас повествование попроще. А посему, увидев того самого водителя, я отпрыгнула и, глядя на Сергея Васильевича, восторженным шепотом зашипела: “Это такой водитель, такой! Это чудо, что за водитель!”

Тут и Оля подошла к нам с билетом. А я, продолжая выпучивать от восхищения глаза, стала говорить уже ей: “Оля! Оля! Это он! Это тот самый водитель, о котором мы тебе говорили летом! Ах, какой он потрясающий! Оля, это чудо, что за водитель!”

Только морозный уличный воздух смог несколько охладить мой пыл. Но чувство щенячьей радости, словно граната, лопнуло где-то у меня внутри — и я не просто взорвалась, а переполнилась им настолько, что была вынуждена повиноваться его настоящему требованию быть излитым на всё окружающее.

Мы стояли кружком, как заговорщики, смеялись и притопывали, отряхивая с обуви снег. Вдруг дверь служебного входа Мышкинской автостанции отворилась, и вышел он! И направился к своему “пазику”.

Мы наскоро простились с Сергеем Васильевичем и пошли в автобус. Я уже поднялась на верхнюю ступеньку, когда услышала голос водителя: “Вам не сюда. Вы билеты до Углича покупали, а я на станцию “Волга” еду”.

Не буду описывать всю глубину моего разочарования. Разве можно помыслить, что мы поедем с кем-то другим. Нет! Так не бывает! Так не должно быть!

Но вот мы снова стоим втроём на улице. Снова о чём-то говорим, над чем-то смеёмся, снова почти счастливы... Почти...

Но граната ведь уже взорвалась... “Я так не могу! Я должна сказать ему, какой он чудесный! И вообще, хотя бы узнать, как его зовут”, — и я снова направилась к “пазику”. Подошла к автобусу со стороны водителя. Он увидел, приоткрыл дверцу и, наклонившись сверху, повернулся ко мне.

Я, как пионер на линейке, дающий торжественную клятву, крикнула ему снизу: “Знаете, вы меня, конечно, не помните. Но мы ехали с вами как-то летом из Мышкина в Углич, в дождь. Я хочу сказать, что вы удивительный, деликатный водитель. Я таких внимательных шофёров ещё ни разу

в жизни не встречала. Спасибо вам! И ещё, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Просто, чтоб знать”.

Он смущенно улыбался во все время этой моей тирады и, кивая, повторял: “Спасибо! Спасибо!” — и сказал, что зовут его Саша. “Как его зовут? Как его зовут?” — это кричат выскочившие из-за открытой водительской дверцы Оля и Куров.

“Александр”, — ору в ответ, перекрывая порывы ветра.

И тут Сергей Васильевич, как настоящий лиходец, выступает вперёд и прямо водителю Саше: “А она про вас рассказ написала. А она про вас рассказ написала”. Сдал, что называется, со всеми потрохами.

А Ольга то ли поддакнула Курову, то ли так показалось, но в голове пронеслось: “Вот бандиты, так бандиты! И когда это они успели объединиться?”

Тут-то и вспомнилось, как дружно они выступили против меня тогда, когда пили чай. А я-то ничего не заподозрила, а вон оно как получается.

Вот мы снова стоим под снегом, ждём автобуса на Углич. А водитель Саша, аккуратно развернув свой “пазик”, уже едет в сторону неведомой мне станции “Волга”...

И всего через пять минут мы опять прощались, теперь уже наверняка, потому как подошёл автобус на Углич. И это тоже “пазик”, как у Саши. И мы с Ольгой, плотно прижавшись друг к другу, мирно покачиваемся в нём, унося с собой всю радость этого дня, всё человечье тепло, что так весело плескалось через край и является в жизни единственно необходимым.